

Уникальность этой книги не только в пронзительной странности соединенных ею стихов. Ее уникальность — в странной судьбе этих стихов, непостижимым образом просочившихся все же сквозь толщу долгой-долгой непроницаемой скрытости, настойчивой уверенности, исходящей как из обстоятельства жизни, так и из характера самого пишущего, — уверенности, что этим стихам суждена только одна форма существования — в разрозненных рукописных листочках, которых никто никогда не прочтет.

Но понятие судьбы синонимично понятию чуда и случайя. И то, и другое наступило в жизни Григория Марка, когда он впервые — чистым случаем — оказался на страницах «Континента». И в самой первой этой подборке прозвучало то, что делает его стихи ни на чьи другие не похожими, чудесными и щемящими:

Господи...

Ты бываешь со мною сверкающим,
Зеленым гипнозом лиственным,
Внутри меня, ускользающим,
Живущий среди бесчисленных,
Знакомых, полурастаявших,
Обрывков навсегда истинны.
Огромным монстрам раскапывай.
Надеждой моей единственной...

Господи...

Григорий Марк — безусловно, поэт лирический. Но его лирическое начало ограничено сдержанностью и своеобразной — я бы сказала, артистической — застенчивостью. Он никогда не скажет прямо о своей любви или отвращении, но даст осторожный образ, затягивающий читателя на самую глубину чувства. Вот, посмотрите, как складывается облик трагически любимого им города:

Дворцовый ангел стынет на колонне,
Стекает небо в пасмурные лица.
Высокий крест мерцает лунной бронзой.
В слезах зеленых — болевые расницы.
В слезах зеленых — стопы

Александрийский.

И не за что на небе уцепиться.
Раскинул крылья ангел — черной птицей.
Обломком бронзы — жест самоубийцы.

Эти стихи иногда ошеломляют своей подлинной, начисто лишней какой бы то ни было нарочитости, детскостью. Я не вкладываю в это слово понятие незрелости или беспомощности. Нет, но это другая зрелость и другая сила. Как дети воспринимают окружающее во всей его острой для себя изначальности, ловя чистые светящиеся краски и сказочные очертания, так и он, взрослый человек, умудренный жизнью, часто располагающей к насмешке или скепсису, друг размывает картину чистого, сказочного, первозданного мира:

В капелье замерзшего леса
Зажглись канделябры деревьев.
Великая люстра сосулек
Закатом сечится на землю.

Торжественно вытянув шеи,
Сидят неподвижные звери,
Закинули головы в небо.
И морды сияют блаженством.

Часто в этих стихах возникает живопись, может быть, отчасти похожая на живопись Пироцкани с ее наподобиями людьми и удивленными животными.

Мир Григория Марка предельно одухотворен и в лирической спой ипостаси предельно осмыслен. В этом мире существует Живой Бог, и каждая совершающаяся малочь подчинена Ему высокой воле. Пасторальные строки о «всесильном Боге любви», «Боге деталей» своеобразно препомняются в стихотворении «Вселенский Гравер» — центральном в книге:

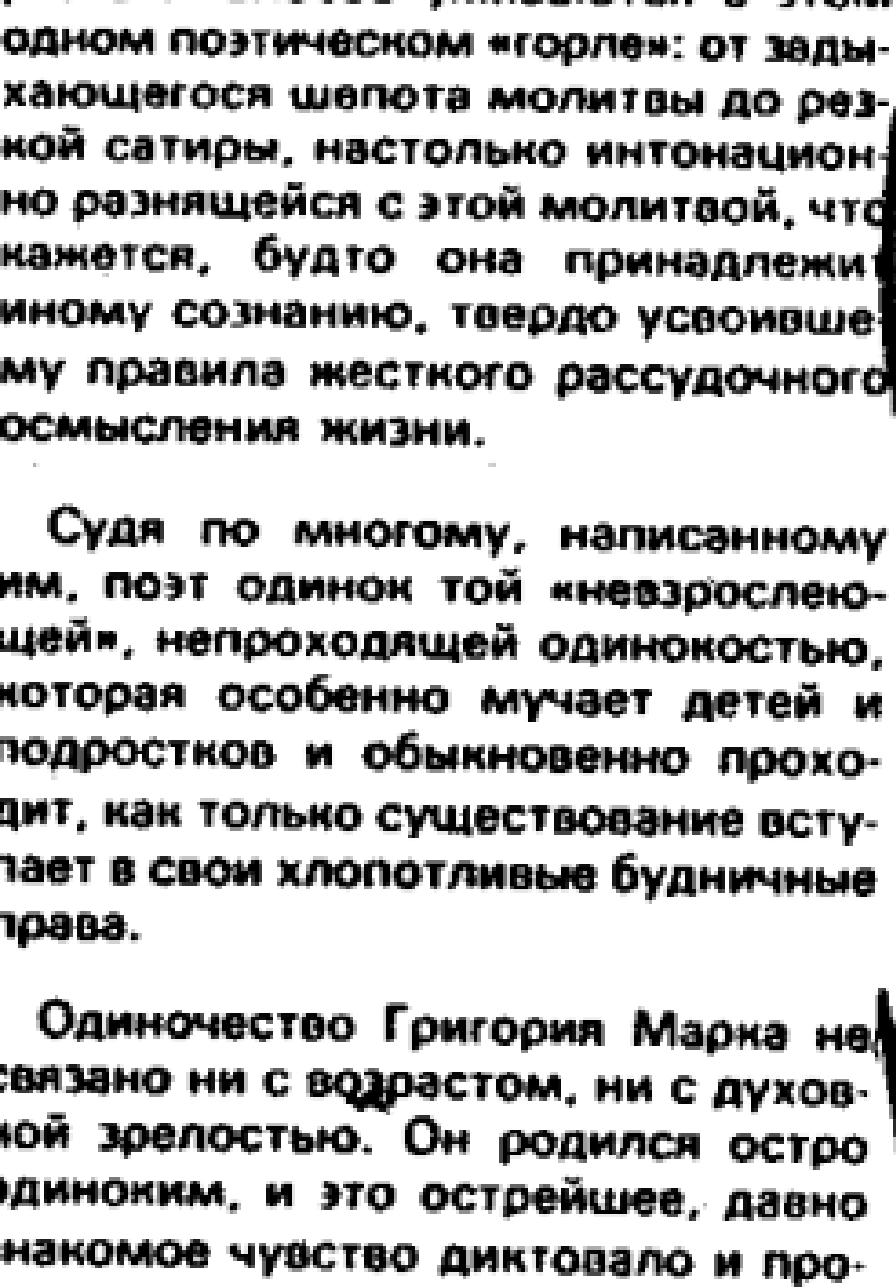
Окошко в стене.
Как гравюра на меди.
Пылает в закате
Воздушный ковер.

Григорий Марк. Гравер. Изд-во «Эффект», Нью-Йорк, 1991.

Как тщательно вырезал
Дерево в небе
Влюбленный в детали
Всеменский Гравер!

Но наряду с такими стихотворениями, как это, поэзия Марка может быть ироничной и беспощадной. В ней слышится боль человека, мучительно осознающего, где и как он живет, наделенного острым социальным чувством:

Из любого положения выходили легко, но
с позором
Шли, приплясывая, по линии наименьшего
сопротивления.
Молчали, не упуская ни единого случая
прошипеть.
И все время шли, в лицо уставившись
фактам.
Лицо было смерзительным. Но этого
не замечали.
Всё ждали чего-то, хотя и верили,
Что так плохо, как будет, до сих пор еще
не было.



Обложка книги Григория Марка.

Я не устаю удивляться, сколько разных голосов уживаются в этом одном поэтическом «горле»: от задыхающегося шепота молитвы до резкой сатиры, настолько интонационно разнящейся с этой молитвой, что кажется, будто она принадлежит иному сознанию, твердо усвоившему правила жесткого рассудочного осмысления жизни.

Судя по многому, написанному им, поэт одинок той «невзрослевшей», непроходящей одиночеству, которая особенно мучает детей и подростков и обычно проходит, как только существование вступает в свои хлопотливые будничные права.

Одиночество Григория Марка не связано ни с возрастом, ни с духовной зрелостью. Он родился остро одиноким, и это острейшее, давно знакомое чувство диктовало и продолжает диктовать его поэзии свои слова и строки.

Мир нервный, горестный, в котором перемешаны краски великолепного и одновременно нищенского города, мир, по которому «тонкой черною плетью» тянется крестный ход и одновременно, «закинув верблюжьи лица», «ходит на Запад колонна, заглатывая пешеходов», вызывает у поэта то восхищение, то отчаяния. Он осознаёт прелость жизни, равно или и со nearestinную горечь. И принимает по мере сил и то, и другое. Он пишет и о том, и о другом, умудряясь себя самого застать врасплох собственным же безжалостным озором и словом, явившим метафору его непростого творчества:

Под дикой развесистой клеквой,
Как будто покойники в ряд.

Глаголов мохнатые буквы,

Сцепившись слогами, лежат.

И корчится подпись, как корень,

Проросший сквозь буквы сорняк:

С обугленным стеблем — Григорий.

А дальше обрублено — Марк.

ИРИНА ЛАЗАРЕВА